А. С. Демин

СИМВОЛИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ В ДРЕВНЕРУССКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ XI–XIII вв.

(«Повесть временных лет», «Слово о Законе и Благодати», «Слово о полку Игореве», «Слово Даниила Заточника»)

Подход к древнерусской литературе как к искусству предполагает поиски хотя бы островков образности в древнерусских памятниках, даже самых идеологичных; в соответствии с чем в данной статье изучение символики ведется в несколько необычном направлении: предлагается не классификация символов самих по себе, как это сделано, например, в известной работе В. П. Адриановой-Перетц[1], а предпринимается попытка показать органичную изобразительную составляющую древнерусской символики.

Так как масса научных работ о символике запредельна по своему объему, а точки зрения на символ бесконечно многообразны, то из прагматических соображений ограничимся самым общепринятым признаком символа в древнерусском литературном повествовании: внешне, лексически, символ называет какое-либо предметное явление или предметный объект, но внутренне он обозначает абстрактное явление, абстрактное состояние или абстрактное качество. Хотя символы и тропы с теоретической точки зрения считаются явлениями резко разными и непересекающимися, тем не менее в ряде древнерусских памятников символика сопровождалась некоторой степенью изобразительности, раскрыть которую можно лишь при внимательном семантическом анализе.

Исследование интересующего нас явления и разборы семантической структуры отдельных отрывков проведем на материале четырех оригинальных древнерусских произведений XI–XIII вв., в которых символика достаточно распространена.

«Повесть временных лет»: от похваления до устрашения

Изучение **изобразительной** стороны символики начнем с древнейшей летописи, с летописной похвалы княгине Ольге под 969 г., содержавшейся уже в «Древнейшем летописном своде» 1039 г.[2] С семантикой похвалы приходится очень и очень повозиться. Прежде всего, где здесь символы? Вот лишь одно из высказываний об Ольге: «си бо сьяше, аки луна в нощи»[3]. Союз «аки» не указывает на сравнение: ведь речь не шла о реальном конкретном сходстве качеств Ольги с качествами Луны. Иносказания здесь тоже не содержалось: не предметным объектом обозначался другой предметный объект, и не сама по себе луна обозначала Ольгу. На самом деле все детали в высказывании выступали в роли символов, когда одним абстрактным понятием обозначалось другое абстрактное же понятие: ночь, то есть подразумеваемая тьма ночи, символизировала язычество; не луна, а ее сияние символизировало праведницу; сияние луны во тьме ночи символизировало одиночество христианки среди язычников.

Но продолжим анализ. Приведенное высказывание имело у автора двойной смысл. Первый и главный – смысл символический, которым обладали каждая деталь в высказывании и все детали вместе в системе высказываний в составе похвалы Ольге. Второй же смысл – второстепенный, предметный, изобразительный, который возникал параллельно в похвале из совокупности деталей. Автор похвалы прибег к нагнетанию символов цепочкой высказываний с союзом «аки»: «Си бысть предътекущия крестьяньстеи земли, аки деньница предъ солнцемь и аки заря предъ светомъ; си бо сьяше, аки луна в нощи; тако и си в неверныхъ человецехъ светящеся, аки бисеръ в кале» (с. 68). В результате изобразительный мотив глубокой ночи с сияющей луной был намечен автором, что подтверждается аналогичными описаниями ночей в летописи, содержащими те же три-четыре предметных детали, как и в похвале Ольге (ночь, луна, «светящеся», заря). Например, под 1102 г.: «на небеси... акы пожарная *заря*... бысть тако светъ всю *нощь*, акы от *луны* полны *светящься*» (с. 276). Вне летописи авторы похвальных слов обычно предпочитали перечислять символы из очень разных предметных областей, без образования ими изобразительного целого.

Изобразительный мотив ночи сравнительно с реальностью имел четыре смысловые особенности у автора похвалы Ольге

в летописи. Во-первых, автор обозначил не конкретную, а отвлеченную ночь вообще, луну вообще, звезду вообще и т. д. Но для символики такой смысл неизбежен.

Во-вторых же, – и это более интересно, – обобщенная ночь у автора похвалы оказалась «неправильной», потому что автор объединил на самом деле разновременные детали: и глубокую ночь с сияющей луной, и конец ночи перед рассветом, и даже начало утра перед восходом солнца. Этот мотив фантастической ночи-утра нельзя объяснить какими-либо литературными традициями. Авторы похвальных слов если уж развивали символ деталями, то без смешения времени суток: язычество – это ночь, а начало христианства – день (так делал, например, Иларион в «Слове о Законе и Благодати»).

Описание «неправильной» ночи отличается еще третьей особенностью – автор начал как раз с утра, а потом углубился все дальше в ночь: сначала упомянута денница (Венера) перед восходом солнца, потом – предшествовавшая ей предрассветная заря, затем – глубокая ночь с сияющей луной; а жемчужина в грязи светится уж совсем во тьме. Обратный порядок описания ночи-утра отразил смену смысла символов у автора похвалы: сначала он использовал символы на тему «си бысть предътекущия крестьяньстеи земли», а потом перешел к теме все более сиротливого одиночества Ольги среди язычников.

Наконец, скажем о четвертой, самой интересной особенности изобразительного мотива ночи-утра в похвале Ольге: здесь нет движения от ночи к утру или наоборот; все детали представляются существующими одновременно, как на застывшей картине, в одном углу которой восходит солнце, а в другом углу царит ночь с луной. Так автор символически обозначил одновременность существования христианства и язычества во времена Ольги.

В эту картину ночи-утра автор похвалы ввел еще одно такое же нереальное изображение, сопровождающее символику крещения: Ольга то ли ночью, то ли под утро омывается в абстрактной купели, совлекши с себя неведомо откуда взявшуюся на ней ветхую одежду Адама, и облекается в новое («си бо омыся купелью святою, и совлечеся греховною одежевъ ветхаго человека Адама, и въ новыи Адамъ облечеся, еже есть Христосъ»).

Зачем автору понадобилась вся эта картина ночи-утра с Ольгой, застывшей в главном деянии своей жизни? Автор похвалы, по-видимому, старался вызвать у читателей чувство

благоговения перед святой («сию бо хвалят рустие сынове аки началницю») и потрудился над созданием даже своего рода «памятника» Ольге. Недаром автор тут же заговорил о памяти праведникам («бессмертье бо есть *память* его... в *памят* вечную праведникъ будеть») и намекнул на земной памятник Ольге – мавзолей с ее мощами («се бо вси человеци прославляють, видяща лежащая в теле на многа лет»).

Вот аналогия. Совершенно явный «памятник» был обозначен в летописной похвале Феодосию Печерскому под 1091 г.: «*победивъ* мирьскую похоть и миродержьца князя века сего, *супротивника* поправъ дьявола и его козни, *победникъ* явися противным его *стрелам* и гордымъ помысломъ, ставъ супротивно, укрепивъся *оружьемь* крестнымь и верою *непобедимою*, Божьею помощью» (с. 214). Детали у автора похвалы образовали не картину живого сражения, а наметили изобразительный мотив величественно, как на медали, застывшей фигуры воина-победителя («победивъ... супротивника *поправъ*... победникъ *явися*... *ставъ* супротивно... *укрепивъся* оружьемь...»). Традиционная символика победы не предусматривала обязательность описания позы победителя. Думается, вновь проявилось у летописца стремление усилить почитание подвижника и потому возвести ему словесный «памятник», наряду с упоминанием памятника земного («люди... иже взирающе на раку твою, поминають...» – с. 213).

Похвала бывала и более масштабной. Когда летописец при нагнетании символов вносил дополнительный изобразительный мотив в летописное повествование, то он мог выходить за пределы «памятника» герою к застывшей картине и без главного героя. Например, в похвале Ярославу Мудрому под 1037 г. автор похвалы символизировал принятие христианского учения Русью перечнем сельскохозяйственных работ: «яко же бо се некто землю разурить, другыи же насееть, ини же пожинають и ядять пищю бескудну» (с. 152). В отличие от реального сезонного труда земледельца, в похвале Ярославу Мудрому этапы сельскохозяйственной деятельности разнесены по многим людям и даже поколениям, что подтверждает автор в своем пояснении к данной символике: «тако и сь – отець бо сего Владимиръ землю взора и умягчи... сь же [Ярослав] насея... а мы пожинаемъ... приемлюще...». Картина получилась величавой и статичной, как бы развернутой автором перед взором наблюдателей, потому что здесь в похвале автор сделал упор на глаголы настоящего времени несовершен-

ного вида: «пожинають и ядять», «мы пожинаемъ», «вернии людье наслажаются». Все это в изобразительном отношении напоминает ту большую «запону», которую для большей убедительности учения философ показал Владимиру: «показываше ему о десну праведныя, в весельи предъидуща въ рай, и о шююю грешники, идуща в муку» (с. 106, под 986 г.). Автором похвалы Ярославу была подчеркнута для читателей основательность русского крещения, что далее дополнительно видно по знаменитой похвале книгам, когда сельскохозяйственную символику автор продолжил символикой полноводной и глубокой реки: «се бо суть реки, напояюще вселеную; се суть исходища мудрости; книгамъ бо есть неищетная глубина; сими бо в печали утешаеми есмы».

Перейдем к другим семантическим структурам и соответственно к другим авторским целям. Иногда при нагнетании символов в летописном рассказе возникала несколько иная изобразительная фигура, нежели «памятник» или величественная картина, как, например, в похвальной речи византийского патриарха к княгине Ольге под 955 г.: «Христосъ имать схранити тя, яко же схрани Еноха в первыя роды, и потомъ Ноя – в ковчезе, Аврама – от Авимелеха, Лота – от содомлянъ, Моисея – от фараона, Давида – от Саула, 3 отроци – от пещи, Даниила – от зверии; тако и тя избавить от неприязни и от сетии его» (с. 62). В результате необычайно длинного единообразного перечисления библейских лиц разновременные библейские события объединились в пространственное окружение Ольги, в некую стену, окружающую город, которую летописец тут же и упомянул: «блаженая Ольга искаше доброе мудрости», а «премудрость... на краихъ же *забральныхъ* проповедасть, во вратехъ же градныхъ дерзающи глаголеть». Эпизодическим изобразительным мотивом ограды летописец усилил достаточно частную мысль о защищенности Ольги «от всякого зла».

Прочие изобразительные мотивы, связанные с символикой, достаточно разнообразны в летописи. Во многих случаях символами служили совершенно конкретные реалии. Например, под 1065 г. летописец описал серию странных происшествий, которые, по его мнению, являлись предзнаменованиями зловещего будущего: «В си же времена бысть знаменье: на западе звезда превелика; луче имуще, акы кровавы; въсходящи с вечера по заходе солнечнемь; и пребысть за 7 дни. Се же проявляше не на добро» (с. 164). Тут же летописец добавил второе знамение: «В си же времена бысть де-

тищь... его же, детища, выволокоша рыболове въ неводе... бяшеть бо сиць: на лици ему срамнии удове, иного нелзе казати срама ради». И тут же летописец вспомнил еще об одном знамении, предшествовавшем описанным: «Пред симь же временемь и солнце пременися, и не бысть светло, но акы месяць бысть; его же невегласи глаголють снедаему сущю. Се же бывають сица знаменья не на добро». Все три знамения объединились в непрерывную череду событий, взаимодополняющих друг друга: одно знамение явилось на ночном небе с вечера, другое знамение появилось на небе днем, а еще одно обнаружилось на земле и в воде. Летописец постарался дать картину искаженного мира с неба до земли и заполнить искажениями все ярусы картины. Зловещий смысл рассказа был доведен до крайнего предела.

Мало того, в этой же статье, в сразу же следующей за этим выборке знамений из «Хроники» Георгия Амартола, летописец использовал тот же способ изложения, заполняя изобразительными мотивами неблагополучия все зримое пространство, или «сферу»: знамения «на вздусе» («въ оружьи... полкы обоя явлены»), знамения на ночном небе («восия звезда на образъ копииныи», «посем же бысть звездамъ теченье с вечера до заутрья»), знамения на дневном небе («и паки солнце без лучъ сьяше»), знамения на земле у людей («жена детищь роди безъ очью и без руку, и чересла бе ему – рыбии хвостъ приросль»), знамения среди животных («песъ родися шестиногъ») и т. д. (с. 164–165). Это одна из самых мрачных предостерегающих статей летописи: «знаменья слця на зло бывають».

Наконец, в летописи, в основном в летописной повести об ослеплении Василька Теребовльского под 1097 г., встречается еще одна изобразительно-символическая фигура, а именно – гигантский знак. Так, автор повести сообщил об ослеплении Василька конкретным ножом («узре Василко торчина остряща *ножь*... и приступи торчинъ... держа *ножь*» и т. д. – с. 260–261), а затем в речах князей по поводу ослепления Василька этот нож преобразился в символ княжеской междоусобицы: «...створи се в Русьскеи земьли и в насъ, братьи, – оже вверженъ в ны *ножь*», «зло створилъ еси в Русьстей земли и ввергль еси *ножь* в ны» (с. 262. Сравним далее под 1100 г. о том же: «ивергль еси *ножь* в ны, его же не было в Русскеи земли» – с. 274). В результате возник изобразительный мотив гигантского грозного ножа, всаженного в Русскую землю. То было предупреждение: «Да аще сего не правимъ, то болшее зло встанеть на нас».

Гиперболизированные предупреждающие предметы-знаки появлялись у автора данной повести неоднократно. Например, князья «целоваше кресть межъ собою» не воевать друг с другом (с. 265); однако, когда один из князей в нарушение клятвы пошел на Василька и его брата, Василько «вземше кресть, его же бе целовалъ к нима, ...и Василко възвыси кресть, глаголя, яко "сего еси целовалъ"»; и тут конкретный крест обернулся символом и одновременно каким-то громадным внеземным крестом: «сступишаяся полци, и мнози человеци благовернии видеша кресть над Васильковы вои, възвышься велми» (с. 270).

Предметная деталь в повести могла приобретать повышенную значительность и не за счет гиперболизации ее величины, а благодаря переносу в небесный мир. Вот с ослепленного Василька «сволокоша с него сорочку кроваву» для стирки, но очнувшийся Василек высказал сожаление: «да бых в тои сорочке кроваве смерть приялъ и сталъ пред Богомь» (с. 261), – окровавленная сорочка превратилась в пронзительный знак мученичества, этим и важна.

В заключение отметим еще один способ летописного повествования, правда, редкий и фактически не относящийся к нашей теме. Вот чуть ли не единственный пример в летописи под тем же 1097 г.: в сражении с венграми половцы «сбиша й в мячь... сбиша угры, акы в мячь, яко се соколъ сбиваеть галице» (с. 271). Выражение «сбиша, акы в мячь» относится, конечно, к сравнениям, а не к символам и предполагает предметное сопоставление людской свалки в битве со свалкой в игре. Но вот как атрибутировать выражение «яко се соколъ сбиваеть галице»? «Сокол» и «галки» уже кажутся символами противоборствующих сторон. Однако на самом деле это иносказание, а не символика, потому что предметными понятиями – сокол, галки – здесь переносно обозначены другие предметные же, а не абстрактные, понятия – половецкий князь Боняк и разгромленное им венгерское войско. Такие иносказания нередки, например, в «Слове о полку Игореве».

Иносказание выполняло другую изобразительную роль, нежели символика. Если в тексте при нагнетании символов формировался изобразительный мотив, усиливающий символический смысл того же текста, то иносказание активно подчеркивало конкретный изобразительный смысл всей фразы. В частности, в приведенной выше фразе иносказанием «яко се соколъ сбиваеть галице» автор гиперболизировал летучий размах описываемой сечи.

В целом же не остается сомнений в том, что при использовании символов в летописном повествовании символику сопровождала большая или меньшая степень изобразительности, зависевшая от авторских целей. Эти цели и изобразительные фигуры («памятники», «стены», «картины», «сферы», «знаки») были довольно разнообразны, потому что в составлении летописи участвовали очень разные авторы и в очень разное время.

«Слово о Законе и Благодати» Илариона: идеализация

Символика других летописей XII–XIII вв. гораздо беднее, чем в «Повести временных лет», и сравнительно с ней ничего нового не содержит в изобразительном отношении. Зато символика более раннего произведения – «Слова о Законе и Благодати», – хотя и однообразна по способу изложения (Иларион использовал только нагнетания символов), но сопровождавшие его символику изобразительные мотивы семантически отличались от изобразительных мотивов «Повести временных лет»: Иларион ценил не только внутреннюю, но и внешнюю красоту героев и событий.

Сравним, например, символику крещения, сходную в «Слове» Илариона и в «Повести временных лет». Владимир в «Слове», как и Ольга в летописной похвале, раздевается, омывается в купели и одевается: «*съвлече же ся* убо каганъ нашь и съ *ризами* ветъхааго человека *съложи тленънаа, оттрясе прахъ* неверна и *вълезе въ* святую *купель*, и породися от духа и *воды*, въ Христа крестився, въ Христа *облечеся*, и изиде от купели, *белообразуяся*»[4]. Из реалий-символов Иларион составил изображение чисто обмывшегося Владимира, которое далее продолжил образом парадной облаченности князя с ног до головы: «ты правдою бе *облеченъ*, крепостию *препоясанъ*, истиною *обутъ*, съмысломъ *венчанъ*, и милостынею, яко *гривною и утварью златою, красуяся*» (с. 34). Владимир у Илариона идеально наряден внешне, чем напоминает красочно описанного обобщенного князя в «Шестодневе» Иоанна Экзарха. У Илариона так же идеально наряден и современный ему Киев, который сын Владимира «величьствомъ, яко венцемь, обложилъ» (с. 33).

В отличие от летописцев Иларион превращал изобразительные мотивы при символах в идеальные образы, что раскрывает также присутствующая в обоих произведениях символика смены «ночного» язычества «дневным» христианством:

«Отиде бо светъ луны, солнцю въсиавъшу... и студеньство нощьное погыбе, солнечьнеи теплоте землю съгревши, и уже не гърздится... человечьство, нъ... пространо ходить, иудеи бо при свешти... делааху... християни же при благодетьнеим солнци... жиждють» (с. 17). Ночь и день в описании Илариона не искажают реальности, но представлены в максимально полном, идеальном своем проявлении: ночью светит луна и очень холодно, люди теснятся при свече; днем же сияет солнце, своею теплотою согревая землю, люди ходят свободно.

Другие изобразительные мотивы на основе перечисления символов, довольно многочисленные в «Слове», также отражают тяготение Илариона к созданию полнокровных идеальных образов, – например, в теме христианского орошения после языческой засухи: если уж потек источник, то обильный и всепроникающий («еуагельскыи же источникъ *наводнився и всю землю покрывъ*» – с. 23); если пошел дождь, то максимально плодотворный («дождемь Божиа поспешениа *расплоджено бысть многоплодне*» – с. 34).

Почти через полтора века после Илариона другой знаменитый проповедник – Кирилл Туровский – довел символику в своих «словах» до гигантских предметных панорам всеобщего благополучия.

«Слово о полку Игореве»: героизация

Осмысление «Слова о полку Игореве» требует больших усилий. Поэтому, прежде чем говорить о каком-либо общем семантическом явлении в «Слове», подробно проанализируем один из его отрывков. Начнем со смысловой структуры знаменитой похвалы Бояну: «Боянъ бо вещии, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу, серымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы»[5]. В этой характеристике содержатся разного рода иносказания. С одной стороны, здесь присутствует классическое предметное иносказание, хотя и в скрытой форме: Боян – это волк и это орел («Боянъ... растекашется... вълкомъ... орломъ...»). Склонность автора к «птичьему» иносказанию при упоминании Бояна подтверждается ближайшим контекстом, в котором автор уже прямо обозначил Бояна и как соловья («О Бояне, соловию стараго времени»), а персты Бояна как соколов («пущашеть 10 соколовъ... Боянъ же, братие, не 10 соколовъ... пущаше, нъ своя вещиа пръсты... въскладаше»). Кроме того, по всему тексту «Слова» наблюдается мно-

го подтверждающих аналогий, из которых видно, что иносказательное обозначение человека волком было излюбленным приемом автора: «куряне... скачють, акы серыи влъци» (с. 46); «Гзакъ бежить серымъ влъкомъ» (с. 47); «Всеславъ... скачи влъкомъ... влъкомъ рыскаше» (с. 53, 54); «Игорь князь... скочи... влъкомъ, ...Влуръ влъкомъ потече» (с. 55). Автор нередко использовал и разные по форме иносказательные обозначения человека птицей: «чръныи воронъ – поганыи половчине» (с. 47); Игорь – «заиде соколъ» (с. 49); «Романе и Мстиславе... яко соколъ... ширяяся» (с. 52); Ярославна – «полечю, рече, зегзицею» (с. 54) и пр.

Но, с другой стороны, недаром в рассматриваемой характеристике Бояна предметное иносказание присутствовало только в скрытой форме, – оно подавлялось более важными для автора абстрактными иносказаниями, которые, таким образом, приближались к символам. Эти абстрактные смысловые оттенки и попытаемся уяснить.

Прежде всего, глагол «растекашется» служил иносказанием абстрактного понятия «песнь творити» (песнь творити – значит растекаться); при этом глагол «растекашется» в данной фразе так же имел абстрактное значение передвижения вообще – поэтому автор применил глагол «растекашется» сразу к трем очень разным объектам – мысли, волку и орлу, в то время как во всех других случаях автор четко называл отличительный вид передвижения объектов: птицы у него в основном летали, звери – бежали или скакали, а мысль – тоже летала.

Прочие абстрактные же иносказания во фразе о Бояне добавляли, как именно это песнотворение-движение осуществлялось. Упоминания волка и орла здесь у автора не имели весомого предметного смысла, соотносились с абстрактным понятием «мысль» и лишь указывали на ярусы песнотворческого передвижения: нижний («въдкомъ по земли») и верхний («орломъ подъ облакы»).

Сложнее понять, какой ярус передвижения при песнотворении подразумевало выражение «растекашется мыслию по древу». Словоформа «мыслию» у автора «Слова», скорее всего, обозначала не внутреннее свойство человека, а внешний самостоятельный объект-носитель и орудие движения или действия, такой же, как у словоформ «въдкомъ» или «орломъ» в данной фразе (ср. о мысли в других местах «Слова»: «мыслию ти прелетети» – с. 51; «мыслию поля меритъ» – с. 55; «мысль носитъ вашю умъ» – с. 52. Ср. также аналогичные только по форме выраже-

ния: «летая умомъ» – с. 44; «кликомъ поля прегородиша» – с. 47; «итти дождю стрелами» – с. 47; «течеть сребреными струями» – 53; «опутаеве красною дивицею» – с. 56; и т. д.).

Можно предположить, что растекание мыслью «по древу» подразумевало движение не горизонтальное, а вертикальное, и, пожалуй, сверху вниз, по стоящему «древу». Правда, при упоминаниях «древа» в связи с песнотворчеством Бояна автор не раскрыл направленность движения «по древу» (см.: «скача, славию, по мыслену древу» – с. 44).

И все же, используя другое иносказание о творчестве Бояна, автор несколько яснее обозначил движение сверху вниз: «не 10 соколовъ на стадо лебедеи пущаше, нъ своя вещиа пръсты на живая струны *въскладаше*» (с. 44).

Кроме того, все прочие упоминания «древа» в «Слове», кажется, имели в виду движение как раз тоже сверху вниз. Наиболее ясен этот оттенок в таких выражениях, как «древо с тугою къ земли *преклонилось*» (с. 49), «древо с тугою къ земли *преклонило*» (с. 55), «древо не бологомъ листвие *срони*» (с. 52). Менее ясно действие сверху вниз обозначено во фразах: «Дивъ кличетъ връху древа, велитъ послушати земли...» (с. 46), – с верха дерева к земле; «одевавшу его теплыми мъглами подъ сению зелену древу» (с. 55), – от верхней «мглы» (ср. немного ранее: «полете соколомъ подъ мьглами») к стоящему дереву и «сени» под ним. Однако отмеченные упоминания «древа» не являются близкими аналогиями к выражению «растекашется мыслию по древу» и поэтому не могут с полной определенностью подтвердить его пространственный смысл.

Как бы то ни было, но растекание «мыслию по древу» обозначало передвижение объекта, связывающее пространственные верх и низ. На склонность автора к обозначению такого рода вертикального движения указывают аналогии в «Слове», хотя и не близкие к фразе о «древе», но более ясные: если стоящее «древо» лишь скрыто подразумевало наличие верха и низа, то в последующих аналогиях в тексте верх и низ были достаточно четко обозначены разными объектами. Например, во фразе «два солнца померкочта, оба багряная стлъпа погасоста и въ море погрузиста» (с. 50) два солнца мыслились находящимися вверху, море – внизу, а оба столпа соединяли верх с низом, притом движение происходило сверху вниз («погрузиста»). Ценность этой аналогии несколько уменьшается из-за реконструированности цитированной фразы, в которую упоминание о погружении в море перенесено современными тек-

стологами из дальнейшего текста, явно спутанного (с. 50–51, 500–501).

Но другие, текстологически бесспорные аналогии с упоминанием солнца в «Слове» повторяют ту же смысловую схему. Так, в плаче Ярославны: «...слънце... простре горячюю свою лучю на ладе вои» (с. 55), – солнце обозначало верх; воины «въ поле» – низ; луч – соединял верх с низом, движение-простирание луча явно шло сверху – вниз.

Или еще одна аналогия: «Солнце ему тъмою путь заступаше» (с. 45), – солнце, конечно, верх; путь «по чистому полю» – низ; тьма – соединитель верха с низом; направление движения – сверху вниз (ср.: «...солнце... *отъ него* тьмою... прикрыты» – с. 44).

Аналогии затрагивали не только солнце. Сравним в плаче Ярославны: «О ветре-ветрило! 〈...〉 Мало ли ти бяшеть горе подъ облакы веяти, лелеючи корабли на сине море?» (с. 54), – облака относятся к верху, море – к низу, ветер их связывает, а движется сверху вниз.

В «Слове» есть и менее ясные случаи движения сверху вниз, но, кажется, нет ни одного случая с движением снизу вверх по вертикальному объекту, соединяющему верх и низ (сомнительно только выражение: «рища в тропу Трояню чресъ поля на горы» – с. 44. Поля – низ, горы – верх, тропа соединяет их, следуя снизу вверх, однако она не вертикальный объект). Так что автор «Слова», вероятнее всего, предполагал двигающейся сверху вниз мысль по стоящему «древу».

Далее встает новый вопрос: в иносказательной характеристике песнотворения Бояна автор «Слова» говорил ли об одновременном движении нескольких объектов в разных плоскостях либо об их последовательных движениях поочередно как о некоей эстафете? Сама характеристика Бояна не дает ответа на этот вопрос. Опять в какой-то степени помогают контекст и аналогии. Дальнейшее сопоставление песнотворения Бояна с полетом соколов подразумевало явно последовательное непрерывное движение. Затем сопоставление Бояна с соловьем также подразумевало единое последовательное движение – по древу, под облаками, по тропе. Наконец, близкое по форме к характеристике Бояна описание бегства Игоря из плена тоже имело в виду последовательное передвижение Игоря: сначала «горностаемъ къ тростию», затем «белымъ гоголемъ на воду», потом «босымъ влъкомъ... къ лугу Донца», а там и «соколомъ подъ мьглами» (с. 53). Значит, велика вероятность того, что

песнопение Бояна автор «Слова» иносказательно обозначил как дуговое или криволинейное движение, последовательно переходившее из плоскости в плоскость: сначала сверху вниз, затем понизу, а потом поверху.

Главным пространственным смыслом в этой иносказательной характеристике было: Бояново песнопение «растекашется» все шире и дальше. И действительно, словоупотребление автора ведет к такому смыслу. Первое движение во фразе – передвижение мысли – было устремлено вдаль. Глаголы «растекатися» и семантически ему родственные «теча», «разлиятися», «простиратися» обозначали у автора «Слова» некое широкое и беспрепятственное действие (ср.: «тоска разлияся по Рускои земли, печаль жирна тече средь земли Рускыи» – с. 49; «грозы твоя по землямъ текуть» – с. 52; «по Рускои земли прострошася» – с. 51). Существительное «мысль» было связано с передвижением куда-то далеко (ср.: «мыслию ти прелетети издалеча» – с. 51; «мыслию поля меритъ отъ великаго Дону до малаго Донца» – с. 55). Существительное «древо» – притом всегда в «Слове» только в единственном числе – явно служило символом и, возможно, обозначало нечто вроде межевого знака на дальней границе Русской земли: «древо» стояло перед землями незнаемыми, «древо» находилось у быстрой Каялы, «древо» обнаруживалось по Роси и Суле, «древо» охраняло Игоря у Донца. Так что мысль при песнотворении посылалась далеко и текла широко (ср. частичную аналогию с посыланием слез: Ярославна из Путивля «слала... слезъ на море» – с. 55).

Второе передвижение, содержащееся во фразе о Бояне, – бег волка – тоже указывало на неостановимый охват большого пространства «растеканием», скаканием, рысканием и пр. (ср.: «скачють, акы серыи влъци въ поле» – с. 46; «поскочи по Рускои земли» – с. 49; «влъкомъ рыскаше: изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя» – с. 54).

Наконец, третье передвижение, обозначенное в характеристике Бояна, – полет орла – подразумевало сразу два пространственных оттенка: взмывание вверх (ср.: «летая умомъ подъ облакы» – с. 44; «соколъ... высоко птицъ възбиваетъ» – с. 51; «высоко плаваешь... яко соколъ на ветрехъ ширяяся» – с. 52; и еще: «горй подъ облакы веяти» – с. 54) и далекий полет (ср.: «...хороброе гнездо, далече залетело» – с. 47; «о, далече заиде сокодъ... – къ морю» – с. 49; «полечю, рече, зегзицею по Дунаеви» – с. 54; и еще: «вьются голоси чрезъ море» – с. 56).

В целом иносказательная характеристика энергичного широкого и далекого песнотворения Бояна являлась четырехслойным семантическим образованием. Внешне – изложение как будто с предметными деталями; а на самом деле – высказывания с высокой степенью абстрактности, когда иносказания переходили в символику; однако символика сопрягалась со скрытыми и не совсем отчетливыми пространственно-изобразительными мотивами, которые вкупе обозначали всеохватность песенного движения и, в свою очередь, переходили в дополнительное иносказание – символ исторической содержательности песен Бояна: «Помняшеть бо, рече, първыхъ временъ усобице... песнь пояше старому Ярославу, храброму Мстиславу... красному Романови Святъславличю» – с. 43–44).

Зачем автору «Слова» в характеристике содержания песен Бояна понадобилось прибегать к столь насыщенной и в общем нетрадиционной системе «двигательных» иносказаний, приближающихся к символам? Думается, для **героизации** творчества Бояна как прославителя русских князей: ведь струны его инструмента «княземъ *славу* рокотаху», а он «пл҃ъкы ущекоталъ... свивая *славы* оба полы сего времени» (с. 44). И прославитель этот отличался тщательностью: накладывал все десять своих перстов на струны.

Эта фундаментальная героизация не сводилась к прославлению успехов персонажа или к гиперболизации его поступков, а выражалась в подчеркивании надежности, основательности персонажа и в полноте охвата им места и предметов действия. В этом отношении героизация Бояна имела многочисленные аналогии в «Слове».

Так, в «Слове» были героизированы все русские персонажи. Например, Игорь в начале «Слова» всеобъемлюще заполнен мужеством («истягну *умъ* крепостию своею, и поостри *сердца* своего мужествомъ, наплънився ратнаго *духа*» – с. 44), а в конце «Слова» стремительно бежит из плена, охватывая пространство от земли до неба, и эта неудержимость расценивается как подвиг («Княже Игорю! Не мало ти *величия*» – с. 55). Князь Всеволод мощно трогается с места и устремляется вдаль. «Яръ Туре Всеволоде! *Стоиши* на борони, *прыщеши* на вои стрелами, *гремлеши* о шеломы мечи харалужными. Камо, Туръ, *поскочяше*, своимъ златымъ шеломомъ *посвечивая*...», – в героическом движении «забывъ чти и живота» (с. 47–48). Князь Святослав всеобъемлюще охватывает пространство своими активными действиями: «...бяшеть притрепалъ своими сильными плъкы и харалужными мечи, насту-

ни *на землю половецкую*, притопша *хлъми и яругы*, взмути *рекы и озеры*, иссуши *потокы и болота*. А поганаго Кобяка *изъ луку моря*... выторже», – то есть весомо героичен Святослав; оттого «поютъ славу Святославлю» (с. 50). Героичны своей повсеместностью и русские войска: «Комони ржуть *за Сулою*, звенить слава *въ Кыеве*, трубы трубять *въ Новеграде*, стоять стязи *въ Путивле*» (с. 44), – и «слава» опять упомянута. Особенно подчеркнута в «Слове» солярная героичность курян, и предметов, и ландшафта – трижды по три элемента: «подъ *трубами* повити, подъ *шеломы* възлелеяны, конець *копия* въскръмлени; *пути* имъ ведоми, *яругы* имъ знаеми; *луци* у нихъ напряжени, *тули* отворени, *сабли* изъострени; сами скачють... въ *поле*»; и все ради славы: «ищучи себе *чти*, а князю *славе*» (с. 46).

В «Слове» героизированы и разнообразные несчастья, которые предстоит преодолевать, причем героизированы тем же самым изобразительным способом – насыщенной пространственной или предметной всеохватностью. Особенно значительными выглядят зловещие знамения, охватывающие небо и землю и символизирующие гигантское наступление врагов на русское войско. Например: «...кровавыя *зори* светь поведають, чръныя *тучя* съ моря идуть, хотять прикрыти 4 *солнца*, а въ нихъ трепещуть синии *млънии*... *Земля* тутнеть, *рекы* мутно текуть, пороси *поля* прикрывають», – это значит: «Быти грому *великому*... половци идуть оть Дона, и оть моря, и *отъ всехъ странъ* рускыя плохы оступиша» (с. 47). Неудачные для русских сражения героизированы превращением их в процессы сельскохозяйственных работ или пира и пр.

Героизировано даже состояние покоя в «Слове». Ср.: «Длъго ночь мрькнеть. *Заря* светъ запала, *мъгла* поля покрыла, щекотъ *славии* успе, говоръ *галичь* убудися. Русичи великая поля щиты прегородиша, ищучи себе *чти*, а князю – *славы*» (с. 46), – действие последовательно охватывает объекты сверху вниз, от неба до земли, и всё застыло в ожидании славы.

Таким образом, характеристика Бояна стала лишь первым эпизодом в длинном ряду героизированно основательных людей и событий в «Слове». Пожалуй, именно за недостаточную надежность и основательность осуждали некоторых князей автор «Слова» и его герои: «Спала князю умь похоти» (с. 44); «и начаша князи про малое "се великое" млъвити» (с. 49); «кають князя Игоря, иже погрузи жиръ во дне Каялы» (с. 50); «рано еста начала Половецкую землю мечи цвелити» (с. 51); «уже бо выскочисте изъ дедини славе» (с. 53) и пр.

Казалось бы, трудно и даже невозможно создать героическое произведение на горестную тему о полном поражении, позорном пленении и тихом бегстве не очень крупного русского князя из плена, но автор «Слова о полку Игореве» справился с задачей героизации подобных событий, изобразив действующих лиц надежными, основательными, упорными или ратуя за эти качества у князей путем обильного использования иносказаний-символов с полноохватным пространственным смыслом.

«Слово Даниила Заточника»: камерность

Свое сочинение[6] этот условный автор наполнил огромным количеством символов. В том, что это все-таки именно символы, а не сравнения или иносказания, можно убедиться на любом наугад выбранном примере. Так, в начале «Слова» Даниил Заточник заявил о манере своего изложения: «Бысть языкъ мои трость книжника-скорописца, и уветлива уста, аки речная быстрость»[7]. В этой фразе связаны не писчая «трость» с языком автора и не река – с его устами, а отвлеченные понятия: «быстрость» реки символизировала «уветливость» (говорливость) уст, а «скорописность» трости символизировала многоречивость «языка». Просто символы эти были оформлены автором неотчетливо, что являлось обычным для всего «Слова». Правда, в самом конце «Слова» Даниил повторил характеристику своего стиля, снова быстротой символизировал плодовитость, но, пожалуй, несколько яснее: «Да не възненавидим буду миру со многою беседою, яко же бо птица, частяще песни своя, скоро възненавидима бываеть» (с. 398), – учащенность пения птицы символизировала многоречивость автора.

Все эти символы рассыпаны по тексту «Слова», как целое не являлись продуманным способом повествования у автора и не образовывали компактных картин или каких-либо изобразительных фигур, но все же вкупе распределялись по нескольким тематическим группам, обладающим определенным изобразительным своеобразием, независимо от того, о хорошем или о плохом говорил автор. Наиболее повторяющимися у автора «Слова» были, так сказать, ландшафтные мотивы у символов; например: «аки река, текуща без бреговъ сквози дубравы»; или: «аки река в брезех, а брези камены» (с. 392). В подавляющем большинстве ландшафтные мотивы в «Слове» являлись камерными; автор упоминал одиночные предметы, находящиеся пре-

имущественно в поле: то попадался «нощный вранъ на нырищи» (с. 388; на развалинах); то конь «за буяном» (с. 392; за курганом); то «древо при пути» (с. 390); то «дубъ крепокъ множеством корениа» (с. 392), то бесплодная «смоковница» (с. 388), то «трава блещена, растяще на застени» (с. 388; трава бледная в затененном месте), то какое-то «место незаветрено» (с. 392).

«Слово» Даниила, адресованное князю Ярославу Владимировичу, казалось бы, должно было быть более «государственно» широким своими предметными мотивами символики. Однако сравнительно более масштабные упоминания природы в «Слове» единичны: два-три раза говорится о море; всего три-четыре – упомянуты различные явления, относящиеся к небу (солнце, звезды, воздух, облака). Автора «Слова» явно тянуло к камерности. Показательно в связи с этим, что когда Даниил упоминал «землю», то в предметном отношении на самом деле он имел в виду поле, не такое уж большое, например: «пусти тучю на землю художества моего» (с. 390), – одна туча стоит над землей, то есть, конечно, над полем.

Преобладающая камерность изобразительных мотивов Даниила выразилась и в специфичности круга символически или реально обозначенных им людских занятий, опять-таки независимо от того, говорил ли он об одобряемых им или об осуждаемых действиях. В основном автор затрагивал дела домашние («възри... аки мати на младенецъ» – с. 366; «веселящися многими брашны... лежиши на мяккых постелях под собольими одеялы» – с. 392; «приничюще к зерцалу и мажущися румянцемъ» – с. 396); упоминал дела хозяйственные («орють... сеють» – с. 390; «неводъ... удержитъ... рыбы» – с. 392; «кони наствити ... коня напоити» – с. 392), припоминал и дела ремесленные («олово... часто разливаемо» – с. 390; «гусли бо страяются персты» – с. 392; «ражжение железу» – с. 394). О более масштабных делах оговорки Даниила единичны (например, о военной службе: «за добрымъ князем восвати» – с. 392).

Камерность мотивов Даниила не была нарочитой; она получилась естественно. Ее нельзя объяснить только нищетой несчастного автора, которому до менее приземленных проблем не было дела. Ведь о своей нищете Даниил мог писать и с размахом: «покры мя нищета, аки Чермное море – фараона» (с. 388), «одержимъ нищетою... рыдая, аки Адамъ рая» (с. 390) и т. д.

Камерность предметных мотивов Даниила в большей степени, как нам кажется, определялась все-таки мелочной идейной атмосферой удельной Руси первой половины XIII в. Неда-

ром Русскую землю автор «Слова» не упоминал вовсе, зато упоминал пункты местные – то «градъ нашь» (с. 392), то «Новгород», то «Курское княжение» (с. 390), и рассуждал об удельных переменах: при каких обстоятельствах «князь высока стола добудеть», а при каких «меншего лишенъ будеть» (с. 394).

Конечно, предположение о зависимости изобразительных мотивов у автора «Слова» от общественного кругозора удельной Руси нуждается в обстоятельных исторических сопоставлениях. Пока же укажем на литературные параллели: сходная со «Словом Даниила Заточника», как нам опять-таки кажется, удельная узость авторского мироощущения наблюдается также в таких очень разных памятниках XIII–XIV вв., как «Сказание об Индийском царстве» и «Житие Александра Невского»[8].

На материале символики всего лишь четырех памятников XI–XIII вв. можно увидеть, с каким разнообразием и непредвзятостью символика сопровождалась той или иной степенью изобразительности в литературных произведениях и как это явление обогащалось до конца XII в.

Однако для XIII в. типичной стала, пожалуй, как раз логическая застылость и изобразительная скудость литературной символики. Так, в чрезвычайно пространном, риторично-компилятивном «Житии Авраамия Смоленского» Ефрема однажды встречается большой блок символов с повторяющимся предметным мотивом сбора существ в защищенном от опасностей месте: «аки делолюбивая пчела, вся цветы облетающи и сладкую *собе* пищу приносящи и готовящи; ... яко же пастухъ добрый, вся сведый наствы и когда на коей *пажити* ему пасти стадо, а не ... овогда гладомъ, иногда же по горамъ разыдуться, блудяще, а инии отъ зверей снедени будуть; ... тако же и кораблеаикъ и хитрии кормници, ведуще путь и пристанище ихъ, милости ожидающе отъ Бога и подобна ветра, а не противу бури и волнамъ морьскымъ, но съ Божиею помощью како ити *нареченнаго града* бес пакости и потопления... Яко же кто хотя нареченъ быти воеводы отъ царя, то не вся ли *събираеть* храбрыя оружникы и тако стати крепко?..» и т. д.[9] Защищенное место (улей – нажить – град – полк) как единое изобразительное целое почти не вырисовывалось у автора жития, который лишь с логической натугой подобрал символы в своем повествовании о гонениях на Авраамия и окружении его преследователями, но не использовал дополнительную силу единого образа для символики.

Такова одна из линий эволюции изобразительности в древнерусской литературе XI–XIII веков.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Адрианова-Перетц В.П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. М.; Л., 1947.

[2] См.: *Шахматов А.А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 117, 548–549.

[3] ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст памятника подгот. Е.Ф. Карский. Стб. 68. Далее столбцы указываются в скобках. Текст летописи цитируется с упрощением орфографии.

[4] Идейно-философское наследие Илариона Киевского. М., 1986. Ч. 1 / Текст памятника подгот. Т.А. Сумникова. С. 27–28. Далее страницы указываются в скобках. Текст «Слова» цитируется с упрощением орфографии.

[5] Слово о полку Игореве / Текст памятника подгот. Л.А. Дмитриев и Д.С. Лихачев. Л., 1967. С. 43. Далее страницы указываются в скобках. Текст «Слова» цитируется с упрощением орфографии.

[6] «Слово» относим к более ранним произведениям, чем «Моление». См.: *Соколова Л.В.* К характеристике «Слова» Даниила Заточника (Реконструкция и интерпретация первоначального текста) // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 46. С. 229–255. Основываемся на первоначальном тексте, без вставок более поздних, выявленных Л. В. Соколовой.

[7] Памятники литературы Древней Руси: XII век / Текст памятника подгот. Д.С. Лихачев. М., 1980. С. 388. Далее страницы указываются в скобках. Текст «Слова» цитируется с упрощением орфографии.

Использую переводы «Слова», сделанные Д.С. Лихачевым (в том же издании, с. 389 и сл.) и В.В. Колесовым (Мудрое слово Древней Руси: (XI–XVII вв.). М., 1989. С. 160 и сл.).

[8] См., например: *Демин А.С.* О художественности древнерусской литературы. М., 1998. С. 222–223, 278–281.

[9] Памятники литературы Древней Руси: XIII век / Текст памятника подгот. Д.М. Буланин. М., 1981. С. 72.